

Вероника Шелленберг

Первый снег. 10 октября

Легко по снегу первому начать
Преодоление творческой дремоты.
Сорвать печали серую печать,
Подробности природы замечать,
Записывать. Взбодрись, душа, ну, что ты!

Отяжелели в белых рукавах,
Упали руки тополей и клёнов.
Ждут милостыни солнца на правах
Вчерашних, птичьих, временных, зелёных,
Но все мечты о лете – в пух и прах!

Секретиками в комьях ледяных
Последние мерцают хризантемы.
О, первый снег! Дворы пусты и немые,
Белы... нет, чёрно-белы. Это – стих
В начале грандиознейшей поэмы

О будущей зиме. Она вот-вот
Играть затеет в городские шашки:
За ходом белых – чёрных будет ход
Следами от ворот и до ворот,
И – очереди на шиномонтажки...

Но первый снег об этом ни гу-гу.
Он как новорождённый – мокрый, липкий,
Беспомощный, тяжелый, хрупкий, хлипкий,
Предельно чистый. На таком снегу
И я намного чище стать смогу.

10 октября 2025

Трижды умыться водой Катунь,
Трижды – водой Чемала,
Чтобы мечта не пропала втуне,
А беда – миновала.

Из родника три глотка студёной,
Где глубока прохлада,
Выпить воды, заговорённой
Грохотом камнепада,

Шёпотом пахнувшей остро хвои,
Горьким словцом полыни...
Всё настоящее и живое
Будет со мной отныне.

Словно вода, и трава, и звезда я,
Ты же – в меня влюблённый...
И молодеет Катунь седая
Встретив Чемал зелёный.

Если человек неделями не выходит в ВК,
значит, на Северном полюсе он пока,
на плато Путорана, на Улаганском плато,
где, кроме неба, не видит его никто.

Из новостей:
снег, волчьи следы, потерянный вороной.
Из гостей:
духи тайги, рассвет, но не кровь вороного, не ной!
Из событий:
стихотворение, посвященное родникам,
ленточки привязал *кам*.

Это шаман. Загугли, если ты – там,
в интернете, где моего человека нет.
Он наблюдает гор переменчивый цвет,
спасённому вороному щедро сыпет овса,
жизнь для него – заповедной реальности полоса.

И я верю – Бог читает судьбы своих детей
не на страницах социальных сетей.

Пазырыкские курганы

Разрытые алчностью и любопытством,
разъятые с чисто научным бесстыдством,
пустые курганы не дремлют,
а шепчутся сквозь Пазырыкскую землю
сердито на скифском наречье,
обида кляня человечьи.

Бессонные духи вождей и шаманов
блуждают среди разорённых курганов,
и шёпот безгубый грабителям прочит
не ведать покоя ни днём и ни ночью,
и скрежет зубовой до дрожи
соседние сёла тревожит,
и словно застывшие крики
деревья растут в Пазырыке.

А духи коней, погребённых когда-то,
породы мифической, гордой, крылатой
прощают глупцам осквернение святыни,
спускаются к нам из заоблачной сини.
Они, аргамаки небесных кровей,
незримые скачут средь наших коней.

Горный Алтай, с. Балыктуюль

Мёртвое дерево над рекой
четверть века стоит.
Как же хрупок его покой
и непригляден вид!

Всё меньше веток, всё больше мха,
и птица не вьёт гнезда.
Одна осталась ноша, легка, —
утренняя звезда.

Но лето пройдёт и осени вспых
погасит зимняя тишь,
И мёртвое дерево от живых
под снегом не отличишь.

Вот так же сломанные часы
дважды в сутки верны,
пустые выровнены весы,
как будто с той стороны,

из мира мёртвых деревьев, трав,
бабочек и стрекоз
явилось нечто, на миг поправ
смерти апофеоз.

И кажется: подо льдом января
живая в реке вода,
и мёртвому дереву благодаря
держится та звезда.

Чемал, берег Катунь

Большая Медведица
сияет по контуру крыши
моего пристанища в Балыктуюле.
Морозный ноябрь!

Охотник,
морщинистый теленгит,
попросил меня сочинить
«Плач кедра».
В углу зимовья
зловеще башней торчит колотушка, -
надо же как-то жить...
Но кедры плачут.

Балыктуюльский щенок —
серый пушистый комочек —
радуется мне
до визга, до дрожи, до голого брюха —
гладь!
Бросается под ноги,
варежки крадёт и грызёт,
но в дом не заходит.
Вырастет —
будет матёрый охотничий пёс,
а не комнатная собачонка.

Конь,
пойманный для меня
на балыктуюльских пастбищах,
где в ноябре
копытил он снег,
добывая траву,
этот мохнатый,
коренастый гнедой
Каря, Каря...
Не понимает сахара
и какие-то там шенкеля.
Отпускаю поводья...
Быстрым галопом по снегу, по снегу,
несёт он мою зазвеневшую душу
навстречу Хану Алтаю.

Плач кедра

с благодарностью Борису Манзырову

Такая работа у кедра:
орехом одаривать щедро
и зверя, и малую птицу.
Со всею тайгою делиться.

Но люди приходят, лютуют,
берут они всё подчистую.
Колотят по мне колотушкой, —
царапаю небо макушкой.

Я плачу от боли, я плачу,
ужель ничего я не значу?
Ударят, возьмут и — по новой...
я вою душою кедровой.

Вы живы, здоровы и живы,
а бьёте меня для наживы.
Трясёте орех раньше срока, —
особенно это жестоко.

Мне больно до звона, до крика,
мне страшно, мне, дикому, дико!

Рыдаю слезою смолистой...
Таёжной молитвою чистой
прошу, до небес долетая,
защиты у Хана Алтая.

Твёрдая и мягкая тайга

с благодарностью Виталию Манзырову

Здесь мягкая тайга густа,
подсыпаны солончаки,
свои охотничьи места,
свои покосы у реки.

Уснёшь под каждою кедрой —
подстилка хвойная мягка,
а там, за хмурою горой,
шаманка — твёрдая тайга.

Такой же, вроде бы, кедрач,
но мягко стелет — жёстко спать.
И днём заблудишься, хоть плачь,
костёр устанешь раздувать.

Там зверь непуганый космат,
там сесть не может вертолёт.
Пропал — никто не виноват,
никто и шапки не найдёт.

Шаманка — твёрдая тайга —
пригрела беспокойный дух.
И воет каменный варган,
железный бубен режет слух,

у родника кровавый вкус
и у горы — кривой оскал...
Кем был при жизни тот шулмус?
Чьи кости тайно закопал?

В объятья мягкие тайги
беги, и думать не моги!

Трое в робах,
трое суровых, плечистых,
обычных таких работяг
обычное начали дело:
отбивать жеребят от кобыл,
но — кобылам не объяснишь!

Трое в робах — голицы за пазухой —
взяли хлысты, хворостины...
Обычное дело!
Врубились в табун...

Вороное-гнедое-каурое море
расступилось, дрожа,
обнажая изрытый,
унавоженный снег.
Завизжала собака, спасаясь от бешеных ног.
Свист хлыста, крепкий мат,
перекатно-истощное ржание...

Обычное дело —
отбивать жеребят от кобыл,
но кобылам не объяснишь!
Защищают детёнышей, скачут, петляют, лягаются,
и норовят укусить.
Опасное дело —
отбивать жеребят!

Жеребята
большеголовые, гривы в репье,
ныряют под материнское брюхо,
мечутся
мальками на мелководье,
только хвостики мелко дрожат...

Всё смешалось, как будто в бою —
кони, люди, февральское колкое солнце.

Трое в робах —
умелые мужики!
Молодняк отогнали в загон и жердями закрыли,
а табун — увели.
Закурили. Обычное дело!

Но — кобылам не объяснишь.

И одна с дальних пастбищ таки прибежала,
и ржала,
и влажную, теплую морду тянула
к своему жеребенку...
Плач грудной лошадиный надсадный
с тоской подхватила собака.
Трое в робах,
отогревая у печки
наждачно-кирпичные руки,
переглянулись: «а, чтоб тебя! Надо поймать!»

А жеребец вороной
заслоняя луну, фыркал весело —
это обычное дело!
Просто время пришло повзрослеть.
Оторваться
от материнского молока...
Просто время пришло вырастать
скакунами горячими, вольными...
Но — кобылам не объяснишь!

Обещанья остаются в силе,
Чистые, как горная вода.
Ласточка свила гнездо в аиле
там же, где всегда.

На виду детей, под скатом крыши,
в левом облюбованном углу.
Верещат птенцы из тёплой ниши,
перекрикивая Кучерлу.

Струи Кучерлы гремят, живые,
пот и слёзы вознося в снега.
Небо видят ласточки впервые
в дыме очага.

Множество разных дорог
ниточками в горсти.
Множество разных стран, как ни крути
глобус...
Уезжай, уплывай, улетай!
Можно выбрать любую страну.
Взором горячего сердца я выбираю только одну –
Алтай.

Горный Алтай.
Целой жизни не хватит испытать
изо всех водопадов, рек и озёр,
целой жизни не хватит
строчкой следов прошить
вершин белоснежный шатёр.
Жизни просто не хватит вглядеться
в красоту от края до края!
Взором горячего сердца
я останавливаюсь
на хребте
Курая.

Мощный,
серебристо-покатый,
словно доисторический ящер,
уснувший когда-то,
Курайский хребет охраняет внизу, у реки,
в окружении чёрной тайги,
хрупкие домики Балыктуюля,
голубые дымки...
Солнце марта с азартом июля
гонит зиму со склонов покосных.
Забывается год высокосный.
На ярчайшем снегу рассыпаясь,
почти не видны
табуны, табуны, табуны.
Только взором горячего сердца
отчётливо вижу пару
коней,
взбегающих на косогор.
Это кони мои: гнедой да чубарый.
А вокруг –
Алтая родной простор.

Небо умыто грозою.
Гор зеленеет громада.
Дом наш увит лозою
дикого винограда.

Дверь открываю в лето.
Тает ночное слово.
Я ещё не одета,
ты – не доцелован.

Плечи – горячей медью.
Повремени немного!
Тени дрожащей сетью
ловят нас у порога.

Утро, подобное чуду,
ветер на руки поднял.
Я никогда не буду
прекраснее, чем сегодня.

Середина осени, сердцевина.
У камина пьём золотые вина
тишины и нежности, тёплой неги,
для контраста – грустный шансон о снеге.

От камина отсветы выются ало.
Что там вечера! Века друг с другом мало,
но упрямо перебирает чётки
время, щёлкая сухо, чётко.

За окном цвет неба давно не броский,
но впотьмах читается чудно Бродский
наизусть, с перерывами для поцелуя.
Аллилуйя!

Осень – повод от лишнего отрешиться,
не смотреть в зеркала и чужие лица,
золотой любви смаковать остаток.
Так он сладок...

Росла гора, с морского дна глядела,
и видела, как воды расступились...
До наших дел горе какое дело?
Века и облака ей поклонились.

Гора моргнула – пролетели скифы.
На каменной уместится реснице
вся кочевая жизнь, костры и мифы.
А их любовь? Она досталась птице.

Гора опять моргнула, и джунгары
быстрее стрел сквозь время просвистели.
Сердец удары и копыт удары
в один сливаясь гул, в пыли осели.

Гора смотрела, бровь приподнимая,
на свет в пещере и на свет в окошке,
на розовое мельтешенье мая,
где мы с тобою – крошечные мошки.

Но всё же на коне своем горячем
я гору одолею, без сомнений.
И птица надо мной от счастья плачет
слова любви ушедших поколений.

Весенний сонет

Прильнёшь к молодой, цветущей
яблоне беспечальной,
и в белокипенной гуще
останется отпечаток:

как будто объятий контур,
дыхания влажный трепет.
И ветерок щекотный
к щекам лепестки прилепит.

Замрёшь на миг, безмятежен.
Так просто весной влюбиться!
Уйдёшь, а в памяти нежной
образ твой сохранится.

А ночью засветится тайнами
яблони облетание.

О, если бы амброзия,
о, если бы нектар!
Глотаю на морозе я
слезу, как скипидар.

Казалось, зарубцована
в душе сквозная боль.
Защита образцовая,
искуснейший пароль.

Но взгляд один-единственный —
пробита! Сражена!
Гремит ключами истина:
любви хотела? На!

Старый парк у реки затаился
затравленным кабаном.

От дождя и смога слиплась редкая
тишина.

Город
строил из себя гостеприимный дом,
да не выстроил... осень, зима, весна...

Но однажды
собрался с силами старый парк,
подскочил, ошетинился,
обнажая клыки берёз.

Побежал по городу,
выхаркивая мусор, дым, пар,
(вот когда фонтаны перепугались до слёз!).

Отмечают путь беглеца
оборванные провода,
с холки сброшенные скамейки...

Живой, живой!

Взвизгивая от радости,
навсегда
парк уносится в лес.

Домой.

И глаза сияют, жилы крепки, зелена душа,
а вовсе не вырубили его на берегу Иртыша.

Открывается утром портал новостей,
всё равно, что полный мешок костей, —
человеческие,
 игральные,
 друг о друга хруп-хруп...
гроб-гриб-граб, трамп... трам-па-рам, труп.
Обыватель — глуп!
Обывателя запросто довести до судорог, взять на испуг.
В море слёз
 попадетсЯ ли новость — спасательный круг?
Пережить костный хруст,
металлический лязг, истерический крик, —
клик, клик...
Может, эта? Нет-нет! Трепотня, шелуха, суета...
Вот!
 Человека спасли два горбатых кита!

Два кита, в сети солнца попавшие два миража,
два кита, словно два дирижабля над бездной кружа,
от тигровой акулы закрыли, подставив бока,
человека, малька, чужака!

Как китёнка, детёныша... вот он инстинкт — защитить!
Миллионами лет неразрывная нить...

Пращур наш не пещерен ещё и огнём не согрет,
Человечества нет, —
пирамид, городов, интернета, религий, войны...
Звери, птицы и рыбы — вольны.
И о чём-то поют величаво киты, выходя из волны.

Ничего не исправить, китам этот мир не вернуть,
но, когда ошалевшая новость коленом на грудь,
обернись за чертой немоты,
посмотри с высоты, —
может быть,
 словно два дирижабля,
 плывут за тобою киты...

Зимнее

Если ты пойдёшь за мной по лыжне,
уплотняя нетронутый снег вдвойне,
если ты прорвёшься в мою страну, —
заповедно-хвойную глубину,
прежним
я тебя не верну.

Непреклонен сосен седой конвой,
далеко разносится волчий вой
на морозе... аж в кишках горячо!
Тронет лапой ельничек за плечо:
— Ты — живой?
— Живой.

И к железной кружке пристынет губа,
всё равно, что к Сибири — твоя судьба.
Будем пить из одной, — иван-чай, чабрец,
всей хандре — конец,

перекурам сорок пять раз на дню...
У меня всё просто — тропи лыжню!
А под вечер — снегом лицо умой
и, как в детстве, падай на снег спиной,
в золотое небо гляди, гляди,
и маши руками — лети, лети...

Мы уйдём, останутся ждать пургу
отпечатки ангелов на снегу.

У мольберта – маюсь,
кисточку нервно грызу,
растворителя гадостный привкус
усиливает досаду:
зарубила этюд!

Я – мясник.

Руки по локоть в ультрамарине –
в крови
благородной моей
живописи.

...а всё так хорошо начиналось!

И вот – корявые тюбики судорожно
цепляются за
край мифической плоской Земли –
палитры.

Поздно!

Доказано:

Земля – круглая,
реальность – в 3Д-формате,
и везде – обалденная графика,
а живопись – миф!
Живопись – пережиток, архаика, древность,
прореха на миропорядке,
свищ вопиющий, просвет
куда-то в забытую,
первобытную душу,
в самую ультрамариновую глубину...

О! Тот, кто слезой озарения
мёртвую краску хоть раз оживить не пытался, –
ничего не знает о муках творчества...

Снегопад – проводник

Снегопад в апреле – ай, благодать!
Межсезонной серости не видать,
ни рекламной пошлости заказной,
ни дерьма, оттаявшего весной.

Неприглядна правда. Груба. Резка...
Но свежо коснулся снежок виска,
на губах растаял, в ладонь проник
снегопад – проводник

до высоких гор, до небесных сфер!
Мир не может быть повсеместно сер,
повседневно хмур, деловит, кровав,
где душа –
 эмигрантка, лишённая прав,
где в решётку беженцы бьют волной,
снова пахнет войной.

Или – *может* быть? Миллиардов – семь.
Кто-то мирного дома не знал совсем.
И когда в Сибири снега, снега,
где-то в Сирии пепельная пурга,
от сожжённой плоти земля жирна,
до Чистилища обнажена.

Дальше – кадры с грифом «шестнадцать плюс»,
я не девочка, но... рассмотреть боюсь.
Под спасительный, белый бегу я снег,
снег – Руси оберег...

Где не можешь исправить ты ничего,
остаётся надеяться на Него!
Но мыслишка гложет – черна, проста:
вдруг-де там пустота?

Снегопад апреля – утешь, услышь,
проводи до самых небесных крыш
просьбу слёзную, детских сердец нужду –
остудить вражду.

И не дай мне смерти страшней свинца –
разувериться до конца...

Притулиться да забыться
без тебя – не важно, где...
Фонарей пустые лица
поклонились темноте.

Листопадный, скоморошный,
только ветер заберёт
моего дыханья роскошь,
губ моих имбирь и мёд.

Вот и место для ночлега
в лодке осени нашлось...
Равнодушно светит Вега
рёбра ивовые сквозь.

Встречи назначенной чудо
в гуще вокзального гула...
Из никуда в ниоткуда
облако проскользнуло...

А ведь могли разминуться!
Страшно подумать – могли бы.
За облаками несутся
тени, быстры и пугливы.

К вечеру небо пустое.
Рощи качается веер.
Пепел дорожных историй
ветром событий развеян.

Всё же не вечно дорогам
грохать, да клаять плацкартно.
Хочется очень немного:
просто вернуться обратно.

Чтобы любили, встречали.
Чтобы приветное слово
над почерневшей печалью –
белое облако словно.

По Енисею
в туман уплывает утка,
а выплывает – баржа...
Это – весна!
Ледохода остатки,
хрупая мириадами рушащихся ворсин,
жалобно трутся о берег.
Это – весна...

Жажда странствий настойчивей, крепче, сильнее
чесночного запаха черемши.
Нащипала я первые стебельки
на пороге тайги,
тайны.
Ещё бы чёрного хлеба,
старого друга,
и можно в дорогу.

Найди меня, надёжный мой человек,
пока лиловая звезда – первоцвет
(здесь говорят – кандык),
золотым
пульсирует
сердцем.

Вслед за ливнями – грозами,
лета душный конвой.
У дрозда – в клюве розовый
червячок дождевой.

Буйной зелень объявлена,
каждый листик – остёр.
Осыпается яблоня –
поцелуев шатёр.

Ночью ветер уляжется,
тайну чью-то храня.
Все пристроены, кажется,
в этой жизни... а я?

Диптих о...

1

Чтобы понять одного человека,
со всею прозой его и стихами,
(ночь, магазинчик, фонарь, аптека),
проникнуться взлётами и грехами,

паузами, рычаньем утробы,
рыданием, запредельным счастьем,
толкованием снов... Да чтобы
осознавать, хотя бы отчасти,

как это – выйти в закрытый космос
личного времени и пространства?
...Звёзд умирающих милые кости,
звёздочек ярких непостоянство...

Эквивалентно надо потратить
жизнь
проникновения ради.

А это вращение, прикипанье,
ночное плечо, уменьшительный суффикс,
короткое, длинное ли – замыканье,
неговoreние имени всуе.

Но вот из двенадцати рвётся одна
предательница-струна.
И сразу разлука даёт имена:
он и она.

...бессмысленности круговая порука,
блуждание от угла до угла:
«Зачем же ты влезла под кожу, сука,
если жизнь отдать не могла?»

2

Женщина уходит – отпусти.
Есть ли, нет за что, – а ты прости.
Кто сказал – невидимая нить?
Этой связи, святости, вины,
вязкой наговоренной слюны,
резко перетянутой струны

разорвав, – нельзя соединить,
запаять у ангела в горсти...
Женщина уходит – отпусти!

Женщина уходит неспроста.
Может быть, она была не та?
Ты не тот... не тот напел мотив...
Кто сказал – держи, не отпускай?
Грай вороний, злой собачий лай...
Отпусти и счастья пожелай!
Ты ещё увидишь, отпустив,
как играет ею пустота...
Женщина взлетает – от винта!

Женщина играет на трубе,
флейте, скрипке, на чужой судьбе
где-то чёрте где, но, боже мой,
кто сказал – любимых бывших нет?
Свищет поезд, меркнет белый свет,
тормошат за плечи безответ...
но в последний миг, пока живой,
боль твоей любви она поймёт...
Не заплачет, что ты... заревёт...

Мне нужна твоя нежность, чтоб не умереть,
уцепиться зубами за синюю твердь,
устоять на канате хорошего дня,
что желаешь мне ты, эсэмэской звеня.

Пробежать над руинами снов и страстей,
над чужими руками краплёных мастей,
ни о чём не жалея, не глядя во мрак...
Мне нужна твоя нежность – зелёный маяк.

Мне нужна твоя нежность на той стороне
мира в тёмном огне.

Я узнала магию
взгляда синего...
а была оранжевая, колючая.
Умиротворённую,
отнеси меня
в лодку чистого случая.

Оттолкнёмся от берега, уплывём
вдвоём.

По течению, бликам солнца и
осенённые сводом ивовым...
Листья крутятся веретёнцами,
откликаются кроны иволгой.

Чуть покачиваясь на реке –
рука в руке.

Чуть покачиваясь, подрагивая...
Правда – иволга? Иль мерещится?
Синеокая льётся магия.
Вместо солнца – мерцанье месяца...

Ни к чему имена, слова...
Просто космоса синева.

Время белых цветов миновало
и оранжевых.
Ночевала одна и дневала,
ах, а раньше мы!

Время синих цветов износилось
платьем шёлковым.
Мне одна оставалась милость —
тихо волком быть.

Время поздних цветов зазвенело
фиолетово.
Колокольное стало тело,
словно нет его.

Так легко и светло зазнобило
о несбывшемся...
Было время цветов — я любила,
да и вышла вся.

...и стоят времена пустые
да печальные.
И встречают снега золотые,
обручальные.

Научите меня расставаться легко,
трудно вам разве,
травы,
волнисто текущие через
полусогнутый локоть холма.

Отпусти меня, ма...

Палатка, зимовье, приют у вокзала,
утроба плацкарта.
Кочуя, где только я не ночевала
от марта до марта.

Засаленной шкурой, кедровой смолою
и чьей-то печалью
чудесно пропахло моё изголовье
на месте случайном.

И двери мне лязгали, пели скрипуче
с утра подгоняя –
в дорогу, в дорогу, пока не наскучит
стремиться до края.

Но в том-то и дело... зимовья, палатки...
одна незадача:
куда-то лететь налегке, без оглядки,
в крови, не иначе.

Веление скифской пружинистой жажды
близко и знакомо.
И ужас, что где-то настигнет однажды
предчувствие дома.

Воздух зимы содрогая,
разносится над базаром:
– Пушистая! Недорогая!
Ёлка! Практически даром!

А ёлочка за забором
живая растёт, трепещет:
– Разве я тоже скоро
буду пушистой вещью?

Слежались мёртвые сёстры
сплошной мохнатой колодой,
но ужас чувствует остро
одна живая – поодаль.

А выметут мусор колкий,
порубят стволы на части,
живая – каждой иголкой
дышать почитает за счастье

и верит: в райские кущи,
ельнички и дубравы
топор ни один не спущен
с цепи для скорой расправы.

Такая блаженная тишь –
ну, как тут не улетишь?

Бетонные косые блоки
торчат, как зубы динозавра,
у входа в парк – сырой, глубокий,
сожравший листопад на завтрак.

Огни, огни кого-то ищут,
высматривают, у кого там
привязан камень к топорищу
и шкурой тощий торс обмотан.

Доисторически безлюдно!
Парк отдан мраку с потрохами.
И только бабочка... откуда?
Из мира Брэдбери порхает.

Конь провалился на старом мосту,
застрял, повис над водой.
Но светлый Ульгень стоит на посту —
выжил наш Золотой.

Вытягивали коня всемером,
верёвками руки жгло.
Ульгень небесным помог чембуром,
а говорят — повезло.

Одна царапина, так, слегка,
и слёзы в глазах коня.
Не поживилась Аккем-река,
шепчет Ульгень для меня:

«Приму благодарности твой огонь,
но ведай теперь весь век:
когда в горах погибает конь —
спасается человек».

Я не спеша
 зачерпнула воды из ручья
детским ведёрком,
 лет двадцать назад — голубым.
Сад мой запущенный...
 Сад, не впустивший меня,
всё же раскроется
 перед ребёнком моим.

Кто-то ведь должен
 туда пробежать босиком
и за водою не раз
 возвращаться назад.
Кто-то ведь должен
 стараться полить целиком
детским ведёрком —
 огромный запущенный сад.

В который раз
 всё заново начни —
карандаши цветные
 очини.
Очнись, душа!
 Цветущий этот вид —
цветущий миг —
 он не повременит.

Рисуй, рисуй
 зазеленевший зной
(ещё в тени
 не спрятаться резной),
тот первый жар,
 весенне-летний чад,
где леденеет
 яблони свеча.

Она плывёт
 и в сумерках видна...
И облетает
 медленно она
куда-то вверх,
 в открытый синий цвет,
такой простой,
 что проще — просто нет.

И в невесомости
 прохладны и легки
летят, летят,
 мерцая,
 лепестки.

Утро (пробуждение)

Всё сразу:
голубиная возня
(по перепонке крыши коготки),
по жёлобу вода
(был ночью дождь),
сорочий смех
(мне больше не уснуть!)
Точильщика наждак
в такую рань,
и колокол воскресный
вдалеке.

Но громче – всё же нож,
по кремню – нож,
и голубиных крыльев тетива,
как будто из засады Робин Гуд
в шерифа ноттингемского стреляет...

Но в этот день никто не умирает...

Цветут пионы, колокол дрожит,
точильщику несут ножи тупые.
Всё – исправимо!
Только через край
вода перехлестнула
дождевая.

Роддом закрыт. И вот за лето
угас без вывесок фасад.
Никто не лепит изолентой
на стёклах номера палат.

Уже на плане реконструкций
здесь белый пластик и бетон.
Как много места развернуться
на месте этого угрюмца,
реликта сталинских времён.

А по ночам – Мария, Стеша...
Надежда, Оленька, жена... –
приносит воздухом нездешним
уже нездешних имена.

И нет войны ещё в помине,
роддом сияет, как желток.
Весна, весна на середине,
бельё хрустящее в корзине
и ЗИСа пристальный гудок.

И в тесной операционной,
как тайный оттиск небеси,
иконою – проём оконный...
И в тесной операционной
душа
 впервые
 голосит.

День Победы

И снова май... Зелёный пух цыплячий
едва прикрыл верхушки тополей...
И снова май, и, светлых слёз не пряча,
мы запоём про белых журавлей.

И смолкнут вдруг литавры на параде,
почудится далёкое «курлы»...
И детский хор на солнечной эстраде
отпустит разноцветные шары.

Замрут на миг мальчишки в камуфляже
и девочки в косынках медсестёр.
...Пусть никогда страна им не прикажет
«давать врагу безжалостный отпор».

Они не знают горький запах смерти,
они не знают, как им повезло...
К ним прикасается в весенней круговерти
цветущих яблонь белое крыло.

Я только подумала – «Слишком тепло...»
И тут же дождя ледяное стило
стирает границы предметов.

Теряются мокрые листья в саду,
и я, растерявшись, обратно иду,
по-летнему тонко одета.

Шафраны ещё по привычке яркие,
оранжево крепкие, как позвонки
сквозь тело тепла проступают.

И тает тепло – ты о нём не тужи,
и дождь, на лету замерзая, кружит,
и падает он, и не тает.

А разве бывает, чтоб слишком тепло?
Пригреешься только – пургой замело...
Последними – эти шафраны.

И перемещается лето туда,
где южные скалы утюжит вода...
Но как же внезапно и рано!

На Катунь

Выйти в сырость весеннюю, —
как хорошо!
До озноба свежо...
Восхитительно так одиноко
на каменном пляже...
Этот берег пустынный и лёд голубой —
только мой!
Этот снег проседающий, влажный,
серую сетью
и рвётся, и тащит подальше, повыше
богатый улов
округлённых волной валунов...
Наконец-то я вышла
дышать!
Быть одной.
Все глаза проглядеть на Катунь,
на ветру замирая струной...

Ветер, ветер, крепчай!
На печали мои обветшалые дунь,
ветер, ветер, зайдись от азарта!
Пусть печали мои улетят,
словно рыжие бабочки марта!

Эти рыжие бабочки вьются, шурша, надо льдом,
эти рыжие бабочки, дети зелёной горы...
Ветер, ветер, не важно, что будет потом...
Рыжие бабочки —
это просто обрывки сосновой коры, —
задевая крылами за панцирь седой,
завершают полёт...

и ломается лёд...

Этой ночью туман
 постелил мне сырую постель,
я продрог до костей,
 я скорее коня оседлал.
Согревает тропа,
 крутизна, перевал Сарыбель,
заостряет рассвет
 серебристую линию скал.

Тяжко дышит мой конь,
 осторожно карабкаясь ввысь,
хищно коршуны кружат
 внизу, под обрывом Скинчак.
В жар бросает тропа,
 лишь коню доверяй
 и молись...

Жизнь прекрасна в пути –
 с каждым шагом
 я чувствую так.

Нет ни прошлых забот,
 ни любви, что меня предала,
я с собой не возьму
 этот груз, тяжелее свинца.
Ждёт меня Уч-Сумер –
 высока, непорочна, бела,
и тропа, и тропа,
 у которой не будет конца.

Уч-Сумер – трёхглавая (*алт.*); одно из местных названий горы Белуха.

Весна продолжается, календарю вопреки —
весна поднимается в горы.
На уровне снега так ярки оранжевые жарки,
фиалки,
синие водосборы...

Среди разнотравья теряется без следа
тропа, как в стоге сена — булавка,
в Красной книге закладка... это же — да!
Корень маралий,
родиола морозная,
горечавка...

Я и слов-то не знала таких — повезло
с проводником, конём и дорогою...
Всё — не случайно.
Может быть,
надо мной аргамака мелькнуло крыло?
Тайна!

Может быть,
я, подобно весне, завершила дела
на равнине... всё городам сказала?
Встречный ветер крепчает.
Конь грызёт удила...
Что там,
с той стороны
перевала?

Хан Алтай

Сизобрюхая туча,
а только что белым туманом была —
устремляется вниз.
Конь мой конь
белым был, стал от пота солёного
пепельно-сиз.

Конь мой конь
подо мной разъярился,
и скифская кровь пробудилась во мне.
Это скифская кровь
заставляет галопом лететь за грозою,
с грозой наравне,

обгоняя брюхатую тучу,
вот-вот разродится она,
грохоча.
А навстречу текут табуны,
то гнедая мелькает,
а то — вороная свеча.

От раскатного ржания, топота,
звона полынной земли
сердце радо, оно
скифской кровью омыто...
горячею, вольною силы полно.
Это предки мои,
соразмерно горам, обступили,
коня подхлестнули —
взлетай!
Это хан мой — Алтай!

Это я
вижу, сокол-охотник упал,
и с добычею взмыл —
добрый знак!
Суслик пискнул,
в когтях повисая, забился, бедняга,
обмяк.

Мимо, мимо...
скачу, прирастая к седлу,
возвращаюсь обратно,

в свои времена.
Мне сегодня
мои соплеменники-скифы
придумали
стремена.

Ночью...
бились на скулах моих
блики танца ритмичного,
краски живого костра.
Ночью...
жаркая бронза стрелы застывала,
остра...

Щекотало дымком...
кочевое житьё моё длилось, мерцало, цвело...
За такие далекие горы навек увело!

И на полном скаку
я зубами узду удержу,
и рука обнаружит натянутый лук,
и стрела затрепещет —
взлетай...
Мой единственный встретил меня —
хан Алтай!

Великое в малом сокрыто,
вблизи открывается даль.
Смотри: в завитке аммонита
галактики нашей спираль.

Повесишь на грудь безделушку,
скорей под рубашкой согрей
невзрачную эту ракушку
со дна силурийских морей.

Не зря же она каменела
вселенскую схему храня.
Сквозь времени холод сумела
коснуться живого огня.

Галактик твоих завихренье –
рисунок её образца.
Одно золотое сечение,
один отпечаток Творца.

Просто живу.
Под горой, у реки Чемал.
Нынче табун гнедых
рядом заночевал.

Просто живу,
живая среди живых
бабочек, ящериц, бурундуков,
этих коней.
Один с утра вышагивает ко мне
любопытный, доверчивый.
Прямо с ладони схрупал
яблоко, припасённое к вечеру...
Ой, мягкая морда!
И ушёл, покачивая лоснящимся крупом
гордо.

Вот они, на водопое кони,
словно табличка в зелёной раме:
«Не беспокоить!»
миру – всему остальному,
там, за горами...

А вода в Чемале
дразнит хариусом у каменистого дна.
Измурудная в глубину, чистая,
пью, прямо возле коня.
Я здесь только дремучей тайге видна
берегущей меня.

Неужели я вырвалась из сетей
суматохи, безумия, массового разлада?
Исчезла с радаров убийственных новостей.
Одиночеству – рада.

О, это не мало –
просто жить на берегу Чемала!
Чтобы в гору
тропка звала золотая.
Это духи Алтая
на краю мировой истерии
шалашик мне смастерили.

Май 2020, река Чемал,

Картонные ножны обмотаны скотчем,
мой дом приторочен к седлу.
Тропинка всё круче, услышь меня, отче,
сквозь града гремучую мглу.

Все прочие, отче, вторичны моменты,
сверкнёт ли вдали полоса?
Пусть будут вне доступа все абоненты,
но выйдут на связь небеса.

А впрочем, грозу принимаю покорно,
лишь воли прошу и коня.
Из этого горного чёрного горна
ты выплави белой меня!

Облако мне выдало патент
на изобретение уюта.
Дождь пружинит о зелёный тент.
За палаткой – сумрачно и люто,

Горная тропа дала добро
под кедрою оставлять запасы.
Счистить ветром города тавро
и уйти свободной и прекрасной.

Видеть мир, насколько хватит глаз,
слушать сердцем сердце человека,
с кем я перешла на этот раз
белый Рубикон Кара-Тюрека.

июль 2022 г., подножье Белухи